

Сергей Аксаков

# Встреча с мартинистами



# **Сергей Тимофеевич Аксаков**

## **Встреча с мартинистами**

### **Серия «Воспоминания», книга 2**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2768815](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2768815)*

#### **Аннотация**

«В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда отделялась, или, скорее, переделывалась и украшалась новой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в нем помещался с своим семейством начальник хлебных запасных магазинов, действительный статский советник и кавалер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем его: Рубановский...»

# Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

13

# Сергей Тимофеевич Аксаков

## Встреча с мартинистами (Воспоминания из петербургской жизни)

В 1808 году на Мойке, набережная которой тогда от-  
делялась, или, скорее, переделялась и украшалась но-  
вой узорной чугунной решеткой, неподалеку от запасных  
хлебных магазинов и конногвардейских казарм, находился  
каменный дом старинной петербургской архитектуры. Дом  
этот принадлежал некогда, как я после узнал, Ломоносову и  
потом как-то приобретен был казною. В настоящее время в  
нем помещался с своим семейством начальник хлебных за-  
пасных магазинов, действительный статский советник и ка-  
валер Владимира 3-й степени, Василий Васильич... назовем  
его: Рубановский<sup>1</sup>. Это была его казенная квартира с отоп-

---

<sup>1</sup> *Рубановский*. – Имеется в виду Василий Васильевич Романовский (1757–1827), который упоминается в воспоминаниях о Шушерине (см. ниже в наст. томе), член масонской ложи Лабзина «Умирающий сфинкс». *Лабзин* Александр Федорович (1766–1825) – видный масон-мартинист, автор многих сочинений мистического характера; издавал в 1806 и 1817–1818 гг. религиозный журнал «Сионский вестник», в 1800 г. основал масонскую ложу «Умирающий сфинкс».

лением и освещением, которая давала ему возможность, при небольшом жалованье, кое-как существовать в Петербурге. Конечно, место Рубановского было не безвыгодное, потому что хлеб отпускался *недостаточным людям* по такой цене, которая была вдвое и даже втрое ниже рыночной; и хотя для получения хлеба по дешевой цене надобно было представить свидетельство от полиции в *недостаточности* состояния, но кому не известно, что при добром расположении главного начальника хлебной конторы легко можно было приобрести и доброе расположение частного пристава. При таком мирном согласии властей добрые люди, получавшие дешевый хлеб, конечно, не остались бы неблагодарными. Но статской Енерал (как его звал народ), или Генерал-Куль (как называло его одно высшее лицо), старик Рубановский, фанатик бескорыстия, сам почти нищий, был честности неподкупной, убеждений непреодолимых, и у него нельзя было спекулировать во имя недостаточности состояния. Рубановский, человек религиозный до мистицизма, злой мартинист, как его звали в обществе, во всю свою жизнь, с суровой строгостью и с тягостною для всех точностью, свято исполнял долг суда и правды на поприще своей разнообразной и долговременной служебной деятельности. Добившись до порядочного чина, он служил и у *города Архангельска* председателем казенной палаты, а впоследствии и в Оренбургском крае, тоже председателем какой-то палаты. В Уфе, как и везде, был он одним и тем же чиновником непреклонной, неумолимой честности.

Именно в Уфе он познакомился с моим отцом и матерью, и это был единственный дом или семейство, с которым Рубановский постоянно находился в дружеских отношениях. Он был нелюбим в обществе, ненавидим своими подчиненными; да, признаться, мудрено было его и любить, но не уважать его было невозможно: будучи всегда чист в своих действиях, независим по своему бескорыстию и умеренности, он не стеснялся в своих речах законами лицемерного приличия, не держал на привязи своего языка, и, когда считал это справедливым, не щадил никого. Его боялись как огня и никогда не заводили с ним ни ссор, ни споров; от него молча отходили прочь, но зато неумоимо действовали против него тайно, как против беспокойного чиновника и злонравного человека. Вследствие таких происков Рубановский никогда не засиживался долго на одном месте; через каждые два, три года его *переводили*, и вот, наконец, перевели из Уфы в Петербург, где уже он оставался довольно долго на службе, до выслуги пенсии, и то благодаря покровительству мартинистов.

Когда в 1808 году привезли меня в Петербург, для определения на службу, то на другой или на третий день нашего приезда меня послали с визитами: к бывшему наставнику моему, Г. И. Карташевскому, к крестному моему отцу, Д. Б. Мертваго, и к Рубановским. Последних я вовсе не знал, или, лучше оказать, не помнил, потому что был слишком мал, когда они уехали из Уфы, но я наслышался об них как

об самых добродетельных и честных людях. Семейство Рубановских произвело, однако, на меня неприятное впечатление. Старик был огромного роста, сухощав, но атлетического, мускулезного сложения; глаза его выражали суровую строгость; лицо он имел необыкновенно длинное и бледное, с выдавшимся вперед подбородком; передние зубы, точно клыки, высовывались, когда он говорил, особенно когда смеялся; но и в смехе его не было ничего веселого и добродушного. Он просто показался мне страшен. Жена его, Анна Ивановна, была совершенная ему противоположность: маленькая ростом и худенькая, как скелет; лицо же ее светилось какою-то восковою прозрачностью. У старика я заметил довольно большую косу, обвитую черною лентою. Я помнил, что во время моего детства носили косы, помнил, что у моего отца коса была с лишком в аршин длиною, и помнил, как он приказал ее отрезать, уступив духу времени и просьбам моей матери; но с тех пор я ничего подобного не встречал, — и коса Рубановского, которая беспрестанно шевелилась и двигалась, сообразно движению его головы, привлекала мое внимание, и я не мог отвести от нее глаз; старик это заметил и сурово посмотрел на меня. Анна Ивановна была одета, как мне показалось, в какое-то фантастическое платье. Особенно поразил меня убор ее головы: это был высокий, как тулья мужской шляпы, чепчик, посредине обвязанный шелковым платочком или широкой лентой, из-под которого висели кружевные крылушки. Узнав от меня, что

я сын родителей, с которыми они некогда жили в дружбе, что я тот самый хворенький Сережа, которого они оставили двухлетним умирающим дитятей, хозяева приняли меня, по-своему, с радушием и ласкою. Мое превращение из ребенка в студента со шпагой и треугольной шляпой показалось им поразительным явлением, которому они долго и наивно удивлялись.

Когда я воротился домой и рассказал, какое впечатление произвели на меня Рубановские, рассказал, что я не мог у них долее оставаться, потому что в час они садились обедать, мне объяснили подробно, что за почтенные оригиналы были эти люди. Мать смеялась и сама удивлялась, что не предупредила меня об этом; но она думала, что пятнадцатилетнее пребывание в Петербурге на таком важном, по ее мнению, месте заставило Рубановских, несмотря на природное упрямство, бросить свой странный костюм и свои архангелогородские обычаи. «Честь и слава характеру Анны Ивановны, – воскликнула мать. – Для женщины это великий подвиг». Тут рассказала мне она, что Анна Ивановна – архангельская уроженка, что в Уфе, да и везде она одевалась точно так, как одеваются женщины, живущие у города Архангельска, что она всегда заявляла намерение не изменять ни в чем своего костюма и никогда не обедать позже часа. Все это казалось в Петербурге невозможным, а теперь оказалось в точности исполненным. Тут я также узнал, что Рубановские испытали ужасную потерю: менее года, как они лиши-



лись старшей дочери, необыкновенной красавицы и умницы, которая была идолом своего семейства, как выражалась одна наша общая знакомая; она же рассказала нам, что родители перенесли эту потерю с необыкновенной твердостью, особенно отец, который, не выронив ни одной слезинки, с каким-то торжественным весельем хоронил свою любимицу, тогда как все присутствующие надрывались от слез.

На другой день поутру отец мой ездил к Рубановским, мать же по нездоровью оставалась дома. Старик Рубановский, особенно любивший мою мать и нетерпеливо желавший ее увидеть, в тот же вечер приехал к нам. После всего слышанного мною я смотрел уже на него с почтительным любопытством и вниманием, несмотря на неприятное впечатление первой встречи. Разговор немедленно обратился на понесенную стариками ужасную потерю. Мать с искренним и горячим участием просила рассказать ей все подробности этого несчастного события. Старик Рубановский как-то дико рассмеялся и сказал: «Я знал, сударыня, что вы по дружбе к нам захотите узнать все обстоятельства, сопровождавшие эту великую эпоху в нашей жизни; она во многом вразумила, во многом переменяла нас. С первого дня болезни Александры Васильевны (так звали его умершую дочь и так всегда называл ее отец) я уже почувствовал волю Божию, понял, для чего нужно нам это испытание, — и покорился. Но в назидание другим, могущим впасть в подобное нашему, родительское, греховное ослепление, я стал записывать каждый день

историю болезни моей дочери и ее христианскую кончину. Я привез прочесть вам эту записку: угодно выслушать?» Разумеется, мой отец и мать усердно об этом просили. Когда же хотели меня выслать, я попросил позволение также послушать, и старик Рубановский изъявил желание, чтобы я остался.

Ни один роман, ни одно стихотворение Державина, ни одна трагедия не производили на меня такого впечатления, какое произвело чтение этой записки. Я не думаю, чтобы она была написана хорошо в литературном отношении, но тут было не до красоты слога! Тут была правда, действительность, страстная родительская любовь, осужденная и пораженная гневом Божиим, как выражался сам несчастный отец. Я не смею думать, чтобы я мог передать чувства, произведенные во мне этой запиской, чтение которой продолжалось часа полтора. Я даже думаю, что если б я мог привести ее в подлиннике, то читатели не получили бы понятия о моем впечатлении: тут недоставало бы отца, читающего, самим им составленное, описание болезни и смерти обожаемой дочери. Сначала в записке старик исповедует, что считал, вместе с женою, дочь свою совершенством человеческой природы, чудом, ниспосланным на землю для обращения заблудших грешников на путь истинный. По словам его, это было собрание всех добродетелей, всех талантов внешних и внутренних. Между прочим, она писала превосходные стихи духовного содержания, сама клала их на музыку и пела с непод-

ражаемым совершенством. Пение этих стихов осталось навсегда лучшим украшением высоких бесед людей, избранных на прославление имени божия и проповедание христианской любви. Умнейшие и просвещеннейшие люди, как, например, А. Ф. Лабзин и какой-то архимандрит Иоанн, находили великое удовольствие и даже душевную пользу беседовать с этой девицей о самых высоких духовных предметах; но в то же время в ней не было никакого отшельничества: она являлась в свет, ездила на балы и в скромном своем наряде, одной любезностью и красотой привлекала к себе толпу молодых людей, которые принимали каждое ее приветливое слово с радостью и благоговением. В самом начале болезни, не имевшей ничего в себе значительного, больная уже предчувствовала свою кончину, заранее приготовилась к ней и старалась приготовить свое семейство. Всякая медицинская помощь оказалась бесполезною. Больная слабела день ото дня, стала впадать в беспамятство, в продолжение которого она или беседовала с незримыми для других посетителями, или пела божественные песни. Всегда чудный ее голос получил в это время необыкновенную силу, и торжественные его звуки разносились по целой улице, так что толпы народа собирались перед растворенными окнами их дома: окна были раскрыты от нестерпимого летнего зноя. Народ, зная, что поет умирающая, плакал от умиления и молился, а множество благодетельствованных ею нищих стояли день и ночь на коленях, воссылая горячие мольбы к богу

о восстановлении здоровья болящей. Вся набережная была до такой степени полна народа, что полиция должна была разгонять его для проезда экипажей. Болезнь долго тянулась; отец подробно описал последние минуты своей дочери, ее прощанье с семейством и со всеми окружающими, ее кроткие желания и просьбы, ее мудрые наставления и радостное стремление к лучшей жизни. Отец сам одевал умершую свою дочь в приготовленное ею заранее платье, сам клал ее в гроб, выносил в церковь и отнес на кладбище; ни малейшего ропота не произнес его язык, и вся душа была исполнена благоговейной радости и покорности воле божией. — Мой отец, мать и я обливались слезами, слушая эту повесть, а старик Рубановский улыбался и говорил; «Вы можете плакать, а я должен радоваться и благодарить бога!»

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.